

П.Д. Тищенко

Человечество: фортуна, риск и игра (опыт эсхатологии)

Как мать-природа предаёт детей
Отваге глухо в них таящихся страстей,
Никак не бережет их ни в лесу, ни в поле,
Так мы первооснове бытия не боле
Любезны...

Райнер Мария Рильке
(перевод Т.В.Васильевой)

По всему свету, повсюду во все часы дня голоса всех призывают и называют одну Фортуну, ее одну обвиняют, привлекают к ответственности, о ней одной думают, ее одну хвалят, ее одну уличают. С бранью почитают ее изменчивую, многие считают ее слепой, бродячей, непостоянной, неверной, вечно меняющейся, покровительницей недостойных. Ей на счет ставится и дебет, и кредит, и во всех расчетных книгах смертных она одна занимает и ту, и другую страницу.

Плиний Старший

Набросок как стиль письма

Набросок не имеет отношения к черновику – чему-то предуготовленному к правке и переписке набело. Это особый стиль письма, дающий возможность мысли высказаться в целом в конечном движении речи. Конечного в том же смысле, в котором конечно движение брошенного мяча, набирающего высоту в момент броска и постепенно теряющего ее, падая на землю. Или конечно движение вспыхнувшей искры, стремительно вылетающей из огня костра, и прочертив траекторию, во тьме гаснущей. Совокупность набросков, оформленная в текст, предстаёт как запись микрокинематики мысли, её опробывающих движений. Получается что-то наподобие известных иллюстраций конвульсивных микродвижений глаза внешне неподвижно созерцающего объект, или записи, разорванного на множество, казалось бы, хаотичных опробывающих микродвижений, макродвижения целенаправленно действующей руки.

Можно кокаином обездвигить мышцы, двигающие глаз, и установить его точно в направлении некоторого предмета. Глаз перестаёт видеть, но ...вероятно (именно за счёт потери зрения) человек начинает в этот самый момент мыслить – видеть невидимое – смыслы, понятия и др. мыслимые предметности. К примеру, в феноменологии роль кокаина, вызывающего «амеханию» – паралич чувственного взгляда, играют процедуры эпохе и редукции, создающие пространство созерцания эйдетической интуиции. Подобная постановка вопроса характерна (по крайней мере в принципе) для всей классической метафизики, разводящей «смысл» и «становление» или упаковывающей алогичность становления в логическую форму (как у Гегеля).

Размышление в форме набрасывания набросков пытается сохранить устойчивость классического эйдетического взгляда в пределах элементарных опробывающих движений мысли (в пределах каждого из набросков). Однако, введя разрывы «между» отдельными элементарными движениями, оно намеревается алогически внесмысловым образом сохранить присутствие становления руки¹.

Набросок темы

Рассуждения, предлагаемые читателю, мотивированы желанием переосмыслить понятие риска. В начале новоевропейской культуры понятие риска, связанное с идеей целесообразного (намеренного действия) и расчета последствий, вытеснило в маргинальные сферы общественного сознания идею Фортуны². Однако, с моей точки зрения, в ситуации позднего модерна по Э.Гидденсу или другого модерна по У.Беку, идея риска вновь начинает впитывать в себя семантическое содержание древнеримской Фортуны. Это обстоятельство – симптом глубинных трансформаций в понимании человеком себя, своего действия и мира.

В переинтерпретации понятия риск вначале будет совершен сдвиг внимания с осуществления действий человека на его речь. Обширнейшая литература, которая многогласно рассуждает о рисках современной цивилизации, предполагает в качестве самоочевидной предпосылки, что используемые в обсуждении слова лишь «отображают» то, что есть само по себе. Поэтому критики, как мне кажется,

разглядывая мельчайшие соринки в глазах ученых, политиков, инженеров, промышленников и т. д. и т. п., не замечают кучи бревен в собственных глазах. Речь не только отражает, но и порождает свои собственные риски. Фундаментальная *неопределенность поступка, лежащая в основе риска*, помимо прочего, предопределена, с одной стороны, конструктивной активностью речи, а с другой – ее собственной неопределенностью и неконтролируемостью. Речь, как публичная речь, – первая и менее всего исследованная колея того, что может быть названо судьбой новоевропейского человечества.

Вторую колею образует понятие машины. В машине реализуется мощь и могут-щество человека, но с машиной, как выясняется неразрывна связана его же немощь и бессилие. В своем стремительном разворачивании машина взрывает идею контролируемого целесообразного действия, со своей стороны возвращая идею риска в контекст римской идеи Фортуны.

Двигаясь в этом направлении переинтерпретации природы рисков, необходимо переосмыслить их (рисков) связь с идеей времени. Э.Гидденс выражает некоторое общее место или, если сказать более резко, – предрассудок новоевропейского понимания природы риска, связывая ее лишь с непредсказуемостью будущего. «Понятие риска становится центральным в обществе, которое прощается с прошлым, с традиционными способами деятельности, которое открывается для неизведанного будущего»³. Как будет показано ниже, неопределенностью будущего ограничиться нельзя. Время как идея, давая возможность представить сущее как предмет овладения и освоения, в том же самом акте предоставления⁴ прячет и скрывает его. Тем самым создаются свои особые основания для понимания фундаментальных предпосылок риска человеческого действия.

Отсюда же возникает естественная необходимость, с учетом проведенной работы, переосмыслить саму идею целесообразного действия. Содержание понятия «риск» имманентно связано с намерением, принятием решения, представлением о рациональном контроле действия и различением последствий его реализации на преднамеренные (позитивные) и непреднамеренные (негативные).

Чем более могущественен человек и человечество, тем более рискованно и необеспеченно его существование. Можно обеспечить свою безопасность, защитившись от всех известных микро-

бов, исправляя ошибки генома и наращивая возможности человеческого тела за счет нано-био-инфо-технологий. От «себя» в своем существе защититься невозможно...

Судьба новоевропейского человека – риск и Фортуна

Два аспекта сближают новоевропейское представление о риске и идею фортуны. Во-первых, речь идёт о некоторых событиях будущего, которые человеком предвидены и предсказаны с достоверностью быть не могут. О событиях, возникающих в ситуации неконтролируемой неопределенности. Во-вторых, и это следствие первого, они не могут быть поставлены ни в прямую вину, ни в прямую заслугу человеку – не зависят от того, как он действует. Представление о незаслуженности результата от характера действия человека в идее фортуны стало той причиной, по которой ее порицало христианство.

Фортуна и риск слепы и темны. Чтобы как-то усмотреть предстоящее и тем самым бросить лучик света во тьму наступающего будущего, римляне создали культ поклонения богине Фортуне, а новоевропейцы разработали статистику. Обе практики смягчают состояние человека в ситуации неопределённого будущего, но существенно не помогают. Мне скажут, что римляне были людьми темными и их жертвоприношения на алтарь Фортуны, естественно, не могли быть эффективными. Иное дело наша статистика. Но, отмечу, во-первых, – наша статистика имеет другого субъекта, нежели тот, кто реально страдает. Для больного, у которого после приёма лекарств или вакцинации возникли тяжелые осложнения, не имеет никакого смысла информация, что они (осложнения) встречаются только в одном случае из тысячи или из десятков тысяч случаев. Информация имела смысл до приёма лекарств, его подбадривала – риск невелик, но именно его обманула, хотя и была правдива. Статистика высказывается не об этом человеке, а о человечестве в его лице. Скажу иначе, в основании статистики лежит жертва человеческой уникальности и суверенности на алтарь безликого человечества (всеобщего). Чтобы освободить в ответственном поступке пространство для уникальности и суверенности поступающего человека необходимо инвертировать жертвоприношение – пожертвовать самим всеобщим....

Собственно говоря, основание для инвертированного жертвоприношения закладываются в лоне самого человечества, которое на поверку оказывается существительным во множественном числе. Индивиду противостоит не Статистика с ее претензией на Истину, но масса конфликтующих статистик, имеющих в основании свою истину оценки рисков. Если исключить курение и злоупотребление тяжелыми наркотиками (включая алкоголь), статистические оценки всех остальных рисков для здоровья человека оказываются противоречивы. Жизнь постоянно ставит в тупик сознание, ищущее простой связи между причиной и следствием. Одни исследования говорят, что мобильные телефоны опасны для здоровья, другие – что безвредны. Одна статистика сообщает о вреде генетически модифицированных продуктов, другая об их пользе. Как подчеркивал английский писатель, которого, как и Фуко, можно назвать историком современности медицины, Дж. Ле Фаню, в отношении подавляющего большинства факторов риска существующая статистика мало достоверна⁵. Риск столь же неоднозначно зависит от заслуг, сколь и решения Фортуны. В прошлом году в 90 лет ушел из жизни известный рок-музыкант, который всю сознательную жизнь не выпускал сигару изо рта и пил виски чаще, чем кофе, который тоже любил...

Спор статистик (научных истин) восстанавливает суверенитет индивидуальности, фактически насильно возвращая ей свободу выбора, личную ответственность поступка. Буду ли я пользоваться мобильным телефоном или не буду, буду ли использовать в пищу генетически модифицированную сою или не буду – это мой и только мой выбор. Выбор, который строится не на достоверности знания, а на доверии к тому, кто свидетельствует о пользе или вреде чего-то со своей особой научной точки зрения. Конечно, общество предлагает массу возможностей *бегства от свободы*. Основанием этого выбора (поскольку истины спорят друг с другом) внешне может стать все, что угодно: красочная этикетка, хлесткая реклама, белый халат на плечах эксперта, его регалии, авторитет и т. д. и т. п. Сколько желающих манипулировать выбором и еще больше тех, кто желает от него отказаться. Однако избыточность и спорность как оснований, так и манипуляторов лишает эти основания субстанциальной прочности, делает ситуацию выбора (в том числе и выбора как отказа от выбора) перманентной. «В насыщенной

рефлексией атмосфере поздней современности жить на “автопилоте” становится все труднее и все менее возможным оказывается сохранение какого-либо определенного стиля жизни, сколь бы прочно он ни был защищен от все проникающей атмосферы риска»⁶. Более того, сохраняется его (выбора) новоевропейская *субъектность*. Правда, сохраняется не в смысле *логической тождественности*, но *метафорического подобия*.

В данном рассуждении мы подходим к главному отличию фортуны от риска. Дело в том, что, думая о Фортуне, римлянин имел в виду как счастье, так и несчастье – «обе страницы в расчетных книгах смертных». Когда мы говорим, что некое действие рискованно, то предполагаем возможность наступления событий неблагоприятных. Это доминанта новоевропейского сознания, относительно которой любовь к риску как таковому является маргинальной формой (например, в экстремальных видах спорта). Но даже и в маргинальной форме риск (в отличие от фортуны) имеет, прежде всего, негативные коннотации, хотя и связывается иногда с возможностью благоприятного события.

В культурном основании различения фортуны и риска лежит то, что возможно, несколько переосмыслив М.Хайдеггера, назвать *судьбой* новоевропейского человека. *Я говорю о судьбе в том смысле, что с какой бы серьезной проблемой ни столкнулся человек – его ответ будет предопределен двумя заезженными колеями новоевропейской культуры – публикуемым словом и технологически понимаемым (опосредованном машиной) действием*. Неважно, покоряет ли человек природу или спасает ее от самого себя как ненасытного потребителя, но для того, чтобы осмыслить ситуацию, он должен публично высказаться (стать автором), а чтобы сделать что-либо – разработать определенного рода научную технологию (физическую, биологическую, психологическую, социальную, политическую и т. д.) – стать субъектом действия. Знание и сила обеспечивают его свободу воли, выражающуюся в слове и поступке.

Если Фортуна – богиня и её слепому решению римлянин приписывал ответственность за удачу и неудачу, то риск приписывается человеку как субъекту (человечеству в лице конкретного человека). Точнее сказать – приписывается в том отношении, в котором он в полной мере не знает и не контролирует наступающие события. *Неопределённость действия – неудача, подрывает*

самоидентичность человека как автономного субъекта. Ставит под вопрос его свободу воли. Он (новоевропейский человек) исполняется и реализуется только там, где подтверждает свой осмысленный контроль (силу и власть) над словом и природой. Оговорки в речи (в широком смысле – не пред-усмотренное в ней автором) указывают (по Фрейдю) на слепую стихию бессознательного, высвободившегося из хватки сознательного контроля. Негативные экологические последствия – на недостаток знаний и умений контролировать природные и социальные процессы. Идея риска указывает на горизонт – предел человеческого действия как такового. На произвольные последствия произвольных действий.

Еще раз подчеркну – *исход, вероятность которого человек старается рассчитать, но наступление которого человек не может контролировать, является неблагоприятным по сути (для его самоидентичности), а не только по результатам.* Естественно, что, как и у каждого центрального проекта культуры, в новоевропейской культуре есть свои раблезианские закраины. Азартные игры, в которых человек вверяет себя слепой фортуне (так же как и римляне), являются естественной формой трансгрессии, если использовать язык психоанализа – отреагированием всего того, что вытесняется Сверх-я доминирующей культуры. Но каким бы игроком в душе ни был человек – в серьёзной ситуации он предпочитает действовать серьёзно, в рамках той судьбы, которая требует быть автором слова и субъектом знания и действия. *Самый заядлый игрок, придя на прием к врачу и столкнувшись с тем, что его ситуация неопределенна, не согласится на то, чтобы врач кидал кости или раскладывал пасьянс, выбирая нужное для лечения лекарство.* Он потребует знаний и компетенций, даже если они оказываются спорными. Но то, что он может получить от свидетельствующего врача покоится на игре, которую язык ведет с размышляющим и принимающим решение.

В этом и есть то, что я называю *судьбой* новоевропейского человека, сталкивающегося с проблемой риска. Напомню – еще в XIX в. дуэль или русская рулетка были не просто способами сведения счетов с жизнью, а апелляцией к Высшему суду. К суду Бога, который в дуэли судил кто прав, а кто виноват, так же как в исходе войны (победе или поражении) указывал на того, с кем Он, а от

кого за грехи их Он отвернулся. Наука заняла место Бога в новоевропейской культуре. Статистика – место фортуны и божественного предопределения.

Причем поскольку рационального и эксплицитно выразимого знания в серьезных ситуациях с одной стороны не хватает, а с другой, – те, что есть, оказываются спорными, то в двадцатом веке происходит тюнинг идеи автономного субъекта. Если еще для Гуссерля ядром самоидентичности человека выступал ученый (человек, выступающий от имени истины), то, наученный опытом провалов позитивистских усилий отделить науку от не-науки, современный человек смягчает к себе требование автономности и доопределяет себя как рационального субъекта такими компетенциями, как интуиция и опыт. Вместо ученого свидетельствует новый, более сложно организованный субъект – эксперт. *Основанием* отношения к нему оказывается *не истина, а вера в могущество науки и порождаемое ею доверие*. Эксперт начинает выполнять важную социальную функцию (напоминающую функцию священника) – свидетельствовать об истине науки в профанном мире. Свидетельствовать не только о ее силе, но и бессилии, не только о могуществе, но и немощи. Свидетельствовать о рисках. Причем подобного рода свидетельство не перестает быть научным. Эксперт, даже свидетельствуя о немощи науки, сохраняет ориентацию на расчет вероятностей, а когда прямой расчет невозможен, превращает себя, воплощенную в своем существе научно образованную опытность в своеобразную меру – экспертную оценку.

Риск не перестает быть риском, стихия неопределенности и неконтролируемости не перестает быть стихией. Они подвергаются одомашниванию. Интериоризации. Они становятся собственными характеристиками и для самости человека как действующего субъекта, и для окружающего его мира. Неопределенность становится его (действующего субъекта) внутренним параметром. Непреднамеренный результат становится столь же своим, сколь и намеренный. *Риск приобретает тем самым черты фортуны, касаясь и счастья, и несчастья*.

Эксперт как нового типа субъект, возникнув вначале как член ограниченного профессионального сообщества (представитель особой «экспертной культуры»), в современной ситуации (пост-

неклассической, по В.С.Стёпину) оказывается социально распределенной субъективностью. Экспертиза ученого доопределяется сложной системой координированных экспертиз потребителей научных знаний, их накопителей, распределителей, преобразователей в конкретные продукты потребления, распространителей (маркетологов) этих продуктов и, в конечном итоге, их (продуктов) покупателей. Немецкий социолог Ульрих Бек подчеркивал, что риск из отслеживаемого, измеряемого и контролируемого *побочного последствия* научно-технической деятельности оборачивается неисчерпаемым ресурсом нового класса потребностей. «[Р]аспространение и умножение рисков нисколько не порывает с логикой развития капитализма, а скорее ...это big business, большой бизнес. Они являют собой то, что ищут экономисты, – запросы, которые невозможно удовлетворить. Удовлетворить можно голод, другие потребности. Цивилизационные риски – это бездонная бочка потребностей, которые постоянно без конца самообновляются»⁷. Поэтому в одной сети экспертных оценок производства нового цивилизационного продукта (риска) с яйцеголовым ученым-экспертом оказывается ленинская кухарка, которой последний, сгоряча, обещал власть. Теперь она ее получает за счет преобразования экспертизы как деятельности из локально профессионально детерминированной в социально распределенную.

В социально распределенном производстве рисков как продуктов (предметов потребностей) современной культуры основополагающую роль играют язык и овеществленные в машинах технологии.

Слово и риск

В заголовке статьи выражен предварительный смысл *того, о чем* пойдёт речь. Разворачивающийся перед взглядом читателя текст – это попытка уточнения наброшенного смысла. Уточнение вытягивает рассуждение в сложное трёхплановое движение. Первые два плана выражены блаженным Августином в рассуждении о времени: «Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю что такое время; если я бы хотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю»⁸. Время как не спрошенное из-

вестное – первый план, а второй – время как неизвестное – спрошенное относительно его чтойности. И третий план времени – «время в возможности» быть и ясным и тёмным, и известным и неизвестным, спрошенным относительно его чтойности и не спрошенным.

О неизвестном и его определении через разъясняющее «что это такое» речь идёт лишь в точке дискурсивного конуса, в которую фокусируется наше внимание. Внимание рассуждения. «Одно и то же – внимание и бытие» – переводит известное изречение Парменида А.В.Ахутин. Сам же конус образуется словами, известными в контексте данного конкретного рассуждения, в том числе и словом «время» как известным. Непроблематичным. Ведь Августин, при всех терзаниях и сомнениях относительно смысла времени, никогда не упускает повод мысли – удерживает речь при времени и не сбивается на рассуждение о капусте или морских звёздах... Прокладкой *между* этими планами (пределами естественности и осмысленности) слова является его (слова) план трансгрессии, которая мной толкуется по М.Фуко: «Трансгрессия доводит предел до предела его бытия, она будит в нём сознание неминуемого исчезновения, необходимости найти себя в том, что исключается им...»⁹. Два выявленных плана слова образуют интервал трансгрессии развёрнутого вопрошания. Не спрошенное слово ищет *себя* в другом слове как *своём* смысле (и теряет в нём себя), а осмысливаемое – удерживает связь с *собой* лишь на фоне исключенной наивности слова не спрошенного.

Такова судьба любого слова, не только слова «время» и не только тех, о которых дальше пойдёт речь. Дело в том, что в рассуждении о слове, как форме одомашнивания или «колонизации» (Э.Гидденс) риска, раскрывается нечто принципиально важное для темы, вынесенной в название статьи. Раскрывается её нетематизированная предпосылка. И даже не просто предпосылка, но, как скажет Э.Гуссерль, – живая, функционирующая деятельность. В книге «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» он делает принципиально важное замечание: «Мы как субъекты актов (Я-субъекты) направлены на тематические объекты в модусах первичной, вторичной, а иногда ещё и сопутствующей направленности. В этом занятии с объектами сами акты остаются нетематическими. Однако мы позднее можем рефлексировать в отношении нас

самих и нашей соответствующей активности; она становится теперь тематически предметной в некоторой новой, со своей стороны опять нетематической, живой функционирующей деятельности»¹⁰.

Иными словами, дискурсивно оформленный конус внимания, устремляющий речь к смыслу (ответу на вопрос – что это такое?), образован живой функционирующей деятельностью речи, из внимающей тематизации исключенной. И если фокус внимания мы обычно связываем со сферой бодрствующего сознания и осознания смысла, с некоторой «самостью», претендующей на авторство написанного, то нетематическую живую функционирующую деятельность речи, которая удерживает и, по сути, оформляет эту сферу, можно назвать бессознательным, которое присутствует, не бодрствуя, а как некий сон речи наяву. Как тело речи. *Высказывая нечто как говорящий, я предоставляю себя речи, которая мной говорит.* К примеру, вот сейчас, когда появляются эти слова – слова, которые читатель сейчас видит. Откуда они пришли? «Я» их высказал (написал). Но разве этот «Я» располагал этими словами, сопряженными вот в эти речевые цепочки, до вы-с-казывания? Разве они были в его памяти?

Напомню известный факт. Когда Августину понадобилось продемонстрировать антитетику временения, визуализировать в качестве образа напряжение *между* еще нет будущего и уже нет прошлого в скользящей точке (миге) настоящего, он использовал пример декламации заученного стихотворения. Стихотворение уже было целиком в памяти и только должно было быть о-звученным. Появление этих стихов впервые на кончике пера или в глотке поэта – событие, куда более принципиальное для понимания парадоксов времени, оказалось Августином незамеченным...

Романтики называли силу, производящую новое слово, – *дикой природой*. Ясно и отчётливо противопоставляя её наукам и цивилизации в целом. Приведу в качестве примера маленький фрагмент стихотворения Евгения Баратынского «Последний поэт»:

Нежданный сын последних сил природы
Возник поэт: идет он и поет:
Воспевает, простодушный,
Он любовь и красоту,
И науки, им ослушной,
Пустоту и суету ...

Постмодерн эту же тему дикой природы разыграл сквозь призму структуралистской идеологии знаков и означаемых, увидел в ней не нечто первозданное, а как раз наоборот – максимально цивилизованную, но столь же неподконтрольную человеку, машину.

В контексте рассуждений о *риске* неважно, как эту мощь называть. Она даёт *надежду* на возможность высказать, реализовать желание сказать, и в том же самом высказывании предоставляет высказаться чему-то иному, от самого говорящего не зависящему, а поэтому несущему неопределённость и *опасность*. Через эту неотступную и неконтролируемую речь прорывается огромное число не пред-усмотренных пишущим или говорящим смыслов, связанных с расхожими идеями и популярными идеологиями, штампами жизненного мира, в который мы погружены, с его тревогами и вытесненными желаниями. Можно любое сомнительное слово или словосочетание поставить под вопрос в надежде усвоить его, проконтролировать его точный смысл. Однако сделать это можно, лишь предоставив простор высказывания другим словам, смысл которых не попадает в конус внимания, но дискурсивно оформляет его.

Поэтому когда мы рассуждаем о *риске*, то следует видеть источник этого риска не только в прогрессе научных технологий, но и в самом *желании сказать о рисках* как рискованном деле. Рискованность этого желания понимают многие. Поэтому столь обилён поток литературы и столь громок хор голосов, желающих сказать о важности молчания... Правда и любителям молчания не молчитесь, желается вы-сказаться ... Нетематическая живая деятельность речи, пред-определяющая наше желание сказать, – делает его нашей общей судьбой....

Тематизируем это желание, памятуя о том, что этим ходом мы лишь дискурсивно перенастраиваем конус внимания. Слово, как скажет М.Хайдеггер, – «дом бытия». В нём присутствует доминирующий импульс культуры одомашнивания всего, с чем человек встречается. И первый шаг на пути к одомашниванию – именование. Первое дело Адама. По Хайдеггеру: «Слово есть условие вещи как вещи. Мне хотелось бы назвать эту власть слова условием (Bedingnis). Условие есть существующее основание для чего-то существующего. Условие обосновывает и основывает. Оно удо-

влетворяет положению об основании. Но слово не об-основывает вещи. Слово допускает вещи присутствовать как вещь. Пусть это допущение и называется условленьем»¹¹.

Что значит – «допустить вещи присутствовать как вещь»? Ответ станет ясен, если возьмём, в качестве примера, такие особые (особенно для темы наших рассуждений) вещи, как «человек» и «человечество». Слово «человек» допускает присутствие человека как человека. То есть разбивает человеческое существо на собственно человеческое в человеке (его бытие) и нечеловеческое (ангельское или животное). То же происходит и со словом «человечество». Слово, попав в фокус (конус) нашего внимания, различает вещь на неё *саму* и то в ней, что ею не является. На собственно человеческое и несобственное, чужое, инородное, гетерономное и т. д., ей принадлежащее не по сути, а факту существования. Поэтому, когда речь пойдёт о человечестве, то отмеченная трёхплановость рассуждения будет играть здесь не последнюю роль.

Удерживаемую словом, в его *сне наяву*, дикость вещи (как и самого слова) можно понять как нечто более из-начальное, чем то, что схватывается в тождестве вещи с самой собой – в фокусе бодрствующего внимания. В.В.Бибихин, истолковывая П.А.Флоренского, делает важное замечание: «У внутренней формы слова статус даже и не мифа, а вернее сна, – миф это уже какое-то усмирение, одомашнивание, смягчение, освоение сна. Чтобы ходить лабиринтами смысла слова, я должен перестать быть я, научиться быть чем-то другим, с угрозой потерять себя. Сон мне нужен и, всё-таки, я стараюсь не спать и, по крайней мере, надеюсь, что не сплю»¹². И очень важная сноска к «я» первого предложения: «Всё тонет в этой громадине, всё захватывает, по-честному, человека, если он не становится “индивидом”, не переключается на зоологию, не становится разумным хищником (разумным эгоистом)»¹³. Правда, уточню (или поспорю) с автором, – «зоология», о которой идёт речь, не относится к животным (в том числе и в нас человеках и человечестве), а скорее – к особенностям буржуазной антропологии. В своё время Демокрит отметил, что «чувств больше пяти – у богов, животных и философов». Именно это «*шестое*» чувство и ведёт рассуждение по грани бодрствования и сна наяву, по грани риска и фортуны.

Машина, риск и Фортуна

Мы живем в мире машин – электронных, психологических, политических, поэтических... Практически любой человеческий ответ на самые сложнейшие или самые банальнейшие экзистенциальные ситуации осуществляет себя *через* создание или использование машины, *через* взаимодействие с машиной, *через* подчинение себя машине, *через* сохранение себя как не-машины. В этом еще одна (наряду с публичной речью) колея *судьбы* новоевропейского человека.

Как показано выше, в речи (как реализации предназначенного судьбой) мы сталкиваемся с возможностью перестановки концептов риск и опасность, их игрой перемены мест в зависимости от скольжения центра внимания вдоль грани между сном и бодрствованием сознания. Результатом *возможности* подобного рода перестановок (*игры*) с одной стороны является реинкарнация в новой ситуации идеи Фортуны, а с другой, – трансформация субъектности, которая в свою сердцевину встраивает основу человеческого могущества и имманентного риска – *как если бы* топос. Аналогичный процесс происходит и тогда, когда человек вручает реализацию своего желания в контексте целесообразного действия машине как его (действия) средства.

Различения

Введу полезное для дальнейшего понимания различие между орудием, механизмом и машиной. Как и любые другие различия, оно будет условным, и при желании всегда можно найти примеры промежуточных артефактов. Схематично полагаю орудие простым продолжением человеческого тела – прежде всего руки. Орудие является частью тела в том смысле, что в его действии отсутствует граница между ним (орудием) и телом. Человек бьет палкой или орудует молотком так, что палка и молоток не воспринимаются им как отличные от своей руки.

Несмотря на свою относительную простоту, оно (орудие) серьезно расширяет и усложняет телесные границы человека, как действующего, так и чувствующего. Копье не только удлинняет

руку человека, наносящую поражающий удар, но и локализует в точке касания остря его тактильную чувствительность. До сих пор хирурги иногда используют металлические стержни, называемые зондами, для ощупывания анатомических поверхностей, до которых не могут дотянуться их пальцы. Зонд удлиняет палец и одновременно указывает на его (пальца) функцию, раскрывает его природу. Рефлексия на орудие как об-наруженную природу тела позволила философам от Аристотеля, через Гегеля до советских гегельянствующих марксистов рассматривать не только руку как орудие орудий, но и трактовать саму выражающуюся в орудийном действии мысль орудийно.

Механизм (его можно так же назвать простой машиной) в логическом смысле возникает как мутация, ошибка орудия. Как потеря жесткой связи с телом человека и, за счет этого, обретение контролируемой им подвижности, смысл которой заключается в преобразовании одной формы движения в другую. Например, поступательного движения во вращательное. Не одно внешнее тело становится продолжением человеческого тела, а как минимум два. Причем овладение этим «сломанным» орудием как механизмом непосредственно зависит от того, насколько человек научается овладевать порядком отношений между двумя телами в той точке, где самого человека уже нет. Рефлексия на эту отстраненную, но контролируемую связь дает идею причинного отношения. Свое радикальное и безукоризненно ясное осмысление обнаруженная природа связи, конституирующая действие механизма, с моей точки зрения, находит в недостаточно оцененной концепции «чистого механизма» У.Росс Эшби: «Механизм (простая машина. – П.Т.) – это то, что, находясь в данных условиях и в данном состоянии, переходит всегда в одно и тоже состояние (а не в различные состояния в различных случаях)¹⁴. В механизме начальные («данные») условия задает человек. Причем человек может задавать эти условия, лишь непосредственно соучаствуя в ситуации сам. Он вписан в это движение телесно.

В свою очередь машина возникает так же как ошибка, «поломка» механизма. В отличие от орудий и механизмов, машина может работать «сама». В своей сущности она предстает как «автомат». Отец «механицизма» Декарт неслучайно настаивает на идее живого тела (в том числе и человеческого) как автомате. Почему авто-

мат можно рассматривать как ошибку механизма? Автомат – это *сложный механизм*, который сложен потому, что плохо сложен. Дело в том, что «логика механизма» не может ничего высказать о природе этой машинной «самости». Апелляция к Богу в мировоззрении классического рационализма решала проблему, но чисто «механическим» путем, вынося принцип организации машины в нечто целое во вне. Современные идеи самоорганизации вместо Бога апеллируют к неопределенности и хаосу как началам упорядочивания причинных связей. Поскольку машина (как и орудия и простые машины – механизмы) создается человеком, то ее резонно назвать *артефактом*. Она искусственна, в отличие от естественных природных вещей. Мне бы хотелось сделать ударение на искусственности как искусстве. Существование ни одной, самой простой машины не выводится прямым образом из самой продвинутой теории машин и механизмов. Теория задает пространство возможностей. Между теоретическим знанием и машиной как артефактом стоит инженерное искусство. Особая способность ума, которая оказывается *между* чистым разумом, озабоченным истинной, и способностью желания, обращенной к долгу. Машина воплощает это *между*, заключив в свою сердцевину чистую *условность* – как если бы. И «закон неба» и «моральный закон» в машине оказываются подвешены. Действуя согласно законам природы, она реализует цели в природе отсутствующие. Реализуя в качестве средства желания целесообразно действующего, и в этой реализации свободного, субъекта, она (машина) делает эту свободу мнимой, зависимой от самой себя.

Машина и игра

В этой подвешивающей функции машина реализует основополагающий импульс культуры как *игры*. Машина – феномен культуры. При этом важно не упустить из виду, что игра, на которой строится культура древнее её самой. Способность действовать условно, действовать *как если бы*, можно обнаружить в *зачатковых формах уже у животных*. Собственно говоря, и человеческие орудия, и человеческий язык могли возникнуть лишь на этом основании. Телесное движение, крик, палка на тропе, камень в реке

должны были сдвинуться с их естественного места в некоторое положение неопределённости, в положение, в котором *они не есть нечто, а могут быть чем-то другим*. Поэтому, когда мы сегодня стараемся понять суть наномашин или биомашин, формирующих революционно новое, как полагают некоторые, отношение к миру, то мы должны не упустить из виду – в них как и в каменном топоре *сущее (прежде всего прочего) сдвинуто* из своего естественного состояния в положение *утопическое*, в прямом смысле этого слова. Постоянно оптимистически повторяется суждение о том, что эти биотехнологии ничего нового не вносят. Они работают на уровне, на котором осуществляется значительное число событий в живой природе. Это верно, но в любой человеческой технологии обычные природные процессы *онтологически сдвинуты из есть в может быть*. Этот сдвиг обеспечивает могущество человека, но, одновременно, создаёт *новое поле экзистенциальных рисков*, сложность которых сближает их с римской Фортуной. Причём чем более фундаментален тот уровень, на котором осуществляется сдвиг, тем более фундаментальны риски. Поэтому новация не в уровне, а глубине и радикальности сдвига. В это обстоятельство следует вдуматься более основательно.

Игру, которая лежит в основаниях обсуждаемого феномена машины, прежде всего, необходимо понять как особого рода негативность. Г.-Г. Гадамер вполне традиционно пишет об игре как «свободе от целевых установок»¹⁵. Это определение достаточно парадоксально, поскольку предполагает освобождение от свободы. Дело в том, что для классического рационализма свобода понимается в категориях автономии. Человек автономен, т. е. свободен, тогда, когда его поступок определен, как законом, им же самим установленной разумной целью. Игра *отбрасывает нас в область жизни, которая расположена вне сферы автономии*, т. е. вне той сферы, которая для классического рационализма определяет пространство культуры как собственно-человеческого в человеке. Именно поэтому Й.Хейзинга и писал, что «игра старше культуры»¹⁶. И, поскольку игра обнаруживается в сердцевине машины, то целесообразное действие теряет атрибут научной рациональности, превращая тем самым риск в Фортуну.

Однако эта сфера не является и сферой природы, по крайней мере в том смысле, в котором природа открывает себя естественнонаучному (в широком смысле, физическому) взгляду. Хейзинга

подчеркивает, что «[у]же в своих простейших формах и уже в жизни животных игра представляет собой нечто большее, чем чисто физиологическое явление либо физиологически обусловленная физическая реакция»¹⁷. *Тем самым в игре как особой форме человеческой жизни совершается своеобразная «феноменологическая редукция» – «вывод из игры» как «сознания», определяемого через целеполагание, так и «тела», определяемого в категориях физической причинности.* Вместе с сознанием и телом из игры выводятся и соответствующие им дискурсы – говоря об игре, мы воздерживаемся от «физических» и «мета-физических» суждений. Игра, загоняя экспертные дискурсы «в скобки», разыгрывается в среде жизненного мира как особого рода представление, как феномен «театральности» по Н.Евреינוву. В ряде опубликованных работ я пытался показать, что темпоральное различие бытия человека по структурам детерминации прошлым (причинность) и детерминации будущим (целесообразность) является условием овладения (контроля) человека над сущим, его силы и власти¹⁸. Поэтому указание на то, что игра является началом, одновременно обращает внимание на под-лежащее бессилие и неконтролируемость...

Ведь не только сущее, становящееся знаком, орудием, механизмом или машиной сдвигается со своего места, но и сам человек. Как неустанно повторял В.С.Библер – в любом предметном действии человек само-устремлён. Действует и на предмет, и на себя как действующего. Вбивающий гвоздь, прежде чем взять в руку молоток должен себя самого превратить (раздвоить) в забивающего субъекта и орудие орудий (Аристотель) – орудийно, действующее тело. Выдвинуть себя из своего существа в нечто не-определённое, утопическое. В состоянии свободное по своему смыслу. И из этого состояния – властвующего над природой и самим собой.

Почти по Аристотелю, знания в виде законов природы определяют не форму того, что есть, а лишь материю и потенцию – область возможных про-из-водящих актуализаций, неопределённую в отношении цели производительную мощь природы. В отношении изобретений культуры это рассуждение должно быть понятно. Но и наука (в своей неклассической форме), обнаружив зависимость *того, что* наблюдается от «прибора» и «языка», осуществила радикальный сдвиг, осмыслив бытие как бытие в возможности, т. е. как бытие, сдвинутое в зону неустойчивости и неопределённости.

Собственно говоря, эта утопичность (и основанные на ней свобода воли, могущество и немощь разума) и составляет идентичность человеческого в человеке, которая с момента его возникновения (неважно, понимаем ли мы её по Библии или по Дарвину–Энгельсу) ни в каком особом рода кризисе не находилась. Пока не находилась. Пока шла игра сама собой... И от её результата могла зависеть жизнь и смерть отдельных человекoв, но не человечества в целом.

В современной ситуации, на уровне нано- и био-технологий начинает формироваться вызов человеческому в человеке в том смысле, что технический прогресс в производстве все более совершенных машин способен «запределить ситуацию» (М.К.Мамардашвили). Человечество действительно *впервые окажется в состоянии кризиса идентичности* постольку, поскольку под вопрос будет поставлена сама возможность сохранения игры (условности, свободы воли и могущества). *Либо сохранить игру, свободу воли и могущества и, поставив себя в ситуацию неконтролируемого риска (отдав в руки Фортуны), погибнуть физически, либо сохранить физическое существование, но отказаться от игры, свободы воли и могущества и, следовательно, погибнуть мета-физически.*

Подчеркну, что речь пойдёт о запределении ситуации – мысленном эксперименте, который позволяет взглянуть на реальные вещи через призму «вещей» нереальных и невозможных – типа идеального газа, нерастяжимой нити, не имеющей толщины, или точечной массы. Не-возможное (это ещё одно имя утопического) даёт власть над всем, что не есть, но лишь возможно.

Био-машина

Свое логическое завершение и, одновременно преобразование, идея машины находит в био-машине. Еще в середине 60-х годов прошлого века Ханс Йонас одним из первых дал описание качественно новой природы биотехнологий как разновидности инженерной деятельности. Инженерии живого как своеобразной машины. Его описание тем интересно, что по сути био-машиной является любая машина, любое орудие или механизм. Они дей-

ствуют лишь постольку, поскольку сопряжены с конгруэнтно действующим человеческим телом (как индивидуальным, так и коллективным). Здесь важно всегда принимать в расчет марксистский принцип самоустремленности предметного действия. Действуя с любым орудием и любой машиной, человек воздействует не только на некоторую внешнюю вещь, но и на самого себя. В акте забивания гвоздя человек различает свое существо на действующего субъекта и тело, приноровленное к действующему орудию (молотку). Так что реальным орудием оказывается симбиоз тела и молотка или био-машина. Поэтому можно сказать, что биотехнологии лишь об-наружили то, что всегда уже создавало основу биотехнологического действия. В чем их особый смысл?

Согласно Х.Йонасу, в своей общей идее инженерная деятельность представляет «проектирование и конструирование сложных материальных артефактов (машин. – *П.Т.*) для удовлетворения человеческих потребностей»¹⁹. Практически до настоящего времени в качестве материи для этих артефактов (создаваемых машин) выступала неживая природа. Природа, в себе не имеющая собственного телоса. Отсюда достаточно лёгкая вместимость инженерного действия в картину мира, различающую активного субъекта и пассивный материал. Ситуация радикально меняется тогда, когда предметом и средством действия (изготовления) оказывается живое существо, включая самого человека.

Йонас выделяет целую серию вытекающих из этого обстоятельства последствий. Прежде всего, меняется характер самого изготовления (**making**). При инженерном конструировании из материала неживой природы с первого до последнего шага получения готового продукта части собираются вместе благодаря активности действующего субъекта – изготовителя. «В биоинженерном действии изготовитель работает лишь как модификатор предсуществующих структур... Они не созданы *de novo*, но используются (пусть и в модифицированном виде) из того, что найдено в природе»²⁰. Поэтому изготовление следует понимать как ограниченный в своей контролируемости процесс. Когда ученый сообщает общественности о том, что он «вырезает ген» из генома одного организма и «встраивает» его в геном другого для получения желанного эффекта, то за метафорами механического манипулирования прячутся сложные биологические процессы инфицирования,

размножения клеток, отбора материала, обладающего нужными свойствами т. д. и т. п. Био-инженер – это не ремесленник, а скорее крестьянин, «вирусовод» и селекционер полезных ошибок природы (мутаций).

Из этого положения следует важный вывод. Если в работе с материалом неживой природы изготовитель является единственным агентом (субъектом), то в работе с материалом живым (в модифицировании) модификатор является ко-агентом, работающим с другим активным субъектом (живым телом). Действие из конструирования приобретает вид интервенции в процессы, которые имеют собственную, независимую от деятеля активность.

В результате меняется предсказуемость в действии артефакта (изготовленной машины). Классическая машина достаточно предсказуема в своём поведении. Но эта предсказуемость условна. Предсказуемо лишь поведение одной «части» простой машины как био-машины в себе. Все точнейшие и подробнейшие расчеты и предсказания рисков в технике упираются в «человеческий фактор». В живое, плохо контролируемое тело человека, встроенного в машину для заполнения ее несложности, восполнения ее неполноты. Поэтому продукт и средство биоинженерной деятельности столь сложен, что прогностические возможности современной науки не способны более или менее достоверно отследить возможные последствия. Как образно высказывается Йонас, «предсказание превращается в гадание, планирование результатов – в рискованную игру (gambling)»²¹. *Риск приобретает черты Фортуны.*

Власть и знание

Все описанные выше последствия концентрируются в вопросе о связи власти и знания. Начиная с Ф.Бэкона принято было считать, что рост знаний и усиливающийся контроль человека над природой делает человека более свободным и счастливым. Собственно, именно человек и рассматривался в качестве единственного субъекта власти. Йонас обращает внимание на тот факт, что появление в новых формах инженерной деятельности активного ко-агента означает перераспределение этой власти. Особенно, ког-

да речь заходит о непредсказуемых долгосрочных последствиях, выскальзывающих из мира научного представления. Человек оказывается их заложником.

Для меня машина и технология – два плана одной реальности *вещи, онтологически сдвинутой из есть в может быть*. Машина выступает как статичный, опространствленный план. Технология – как план динамического темпорального развёртывания, процессуальности онтологически сдвинутой вещи. Вещи, увиденной через призму новоевропейской механистической науки²².

По точному утверждению М.Хайдеггера, машинная техника является для новоевропейской эпохи явлением, равным по рангу науке в выражении её (эпохи) существа. Она такой же решающий способ, каким для нас предстаёт *всё что есть*. «Последнюю, – пишет Хайдеггер о машинной технике, – ...было бы неверно истолковывать просто как практическое применение новоевропейского математического естествознания. Сама машинная техника есть самостоятельное видоизменение практики, такого рода, что практика начинает требовать применения математического естествознания. Машинная техника остается до сих пор наиболее бросающимся в глаза производным существа новоевропейской техники, тождественного с существом новоевропейской метафизики»²³.

В машине, как овеществлённой технологии, бытие обращено к себе с вопросом о собственном смысле, оно пытается разгадать себя и одновременно прячется от разгаданности. Ускользает от осваивающего (одомашивающего) захвата. И в этом отношении машинная техника тождественна с существом метафизики. Причём она (машинная техника) не просто иллюстрирует, повторяет или применяет (при-кладывает) то, что мысль представляет в науке в качестве бытия (*есть*), но является самодовлеющим феноменом в феноменологическом смысле. Бытием, которое само себя в машине и машинной технологии как бы высказывает – представляет, выводит на свет и в том же движении сдвигает в непроницаемую тень.

К смыслу этого сдвига подводит звучавшая на разные голоса (В.С.Библера, Э.В.Ильенкова, М.Б.Туровского и др.) идея советского марксизма, согласно которой орудие человеческое орудие представляет собой «круглый квадрат». В нём действие по логике вещей сопряжено с действием по логике действующего субъекта. Достаточно напомнить метафору ножа – рукоятка воплощает субъек-

екта, а лезвие – плоть дичи. В работах учителей главный упор делался на диалектическом тождестве и снятии природного в социальном. Мне эта метафора сообщает несколько иное. Во-первых, в ноже присутствует вещь (камень), хотя и низведённая до статуса материала, но не снятая в нём полностью. Вещь (камень) проступает в ноже как его несовершенство, как то, что мешает этому ножу быть ножом идеальным – щербины, недостаточная острота и т. д. Вещь присутствует рядом с человеком в виде отбитых осколков – отходов производства. Но главное – его ветхость. Каменный нож остаётся камнем, разрушаясь с течением времени.

Поэтому когда выше машина была названа овеществлённой технологией, то важно не упустить из виду и обратное – в машине продолжает присутствовать вещь. И когда машины заполняют мир, то в тени этого заполнения продолжается жизнь вещей, дающая о себе знать в сбоях техники (от сгоревшей лампочки до чернобыльской катастрофы), в повсеместном нарастающем присутствии отходов. В.С.Библер пишет: «Человек разрушает целостность, космичность природы, эйдетичность ее, говоря античным языком, чтобы сделать дискретное орудие, которое он может к себе приспособить. Это входит в исходное определение трудового процесса»²⁴. В постоянном изнашивании машин, стимулирующем расширенное производство всё новых и новых машин.

Машинное бессознательное

Второе, что ещё малоприметно в каменном ноже, но со временем становится наиболее существенным – это то обстоятельство, что в машине, как и в каменном ноже, присутствует граница между логикой вещей и логикой идей, переходная зона между лезвием и рукояткой²⁵. Это между составляет суть машины. В строгом смысле машина – это граница между человеком и природой. Граница активная и в плане технологического развёртывания машинных свойств вещи, и в плане взаимодействия с человеком, играющим роль субъекта. Неклассическая наука заметила, что в зависимости от прибора (исследовательской машины) вещь (фотон, электрон, и т. д. и т. п.) предстаёт различным образом. В ней выделяются разные онтологические проекции. Машина превращается из про-

стого орудия в коммуникационный канал, в котором неприятные для учёных «помехи» должны быть поняты так же как симптомы в психоанализе, т. е. как символическое присутствие вытесненной в тень вещи. Из этого «бессознательного» вещи, превращённой в машину, произрастают неприметные и неконтролируемые риски. Скажу иначе, в машине есть «механизм» как то, что представлено и контролируется, как то, что раскрывается в представлении сознанию человека, которое в принципе может быть заменено искусственным интеллектом (компьютером) как машинным «сознанием». Но есть в нём и непредставленное – то, что ещё может быть открыто в представлении, а есть и по сути своей непредставимое. Своеобразное «машинное бессознательное» вещи. Если мы по правилам логики различим социальное и природное, следуя логике деятельностного подхода, то это бессознательное выступит как «неисключённое» третье в этом отношении. Это сон наяву вещи, превращённой в машину.

Время и риск

Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он...

А.С. Пушкин

Если риском называть событие, неважно, связано ли оно с нашим действием или бездействием, которое в своём основании содержит неопределённость наступления неравнозначных по ценности исходов (в интервале между надеждой на удачу и страхом неудачи), то будущее для новоевропейского самосознания рискованно по своей сути.

Обычно предполагается, что если прошлое прошло, то оно иным быть не может. Поэтому в логике, представляя время в виде некоторой траектории, проходящей через точку настоящего, прошлое изображают в виде прямой линии. В отличие от прошлого, будущее, как не наступившее, содержит в себе многообразие возможностей. Поэтому в логике также обычно его изображают в форме ветвящегося дерева возможных исходов. В зависимости от онтологического предположения это ветвление может рассма-

триваться либо как субъективное следствие неспособности человеческого разума раскрыть для себя истинный порядок вещей и событий в мире (неважно, в форме лапласовского детерминизма, античного рока или судьбы, или божественного предопределения). Либо, исходя из предположения о первоначальности хаоса, возможно видеть в этой неопределённости нечто объективное. В любом случае, подкладкой, скрывающейся за этим рассуждением, является причинная детерминация будущего прошлым. В одном аспекте классического лапласовского типа, в другом – неклассического типа статистической детерминированности событий. Кантовская идея схемы воображения, опосредующая чувственный опыт и рассудок, основана на этом же предположении.

Есть и третий вариант, если переиначить Ж.Делёза в стиле Й.Хейзинги, увидеть в онтологическом интервале порядка и хаоса игру взаимного обоснования. Порядок как основание хаоса и хаос как основание порядка. Эта игра в синергетике обозначается парадоксальным словосочетанием детерминированного хаоса.

Но при любой онтологической интерпретации неопределённости будущего – оно имманентно содержит в себе риск. Причём, если встать на точку зрения А.Бергсона, то сами пространственные представления времени следует рассмотреть в качестве неадекватных, останавливающих и поэтому теряющих чистое временение – так же как в апориях Зенона останавливалось и поэтому терялось движение. Здесь уже не просто неопределённость возможных исходов, а неопределённость по ту сторону возможностей пространственного представления. Непредставимая и ненаблюдаемая. Раскрывающаяся лишь интуитивно. Фортуна.

Ускользящее становление чистого временения не остаётся индифферентным – из него как из-начального переживания, схватываемого интуицией, по Бергсону (выше условно та же способность была обозначена шестым чувством, по Демокриту), производятся многообразия возможных форм представления времени, а следовательно – условий мыслимости того, что мы называем риском будущего.

Однако есть возможность мыслить время по ту сторону идеи причинной детерминации и взаимодействия субстанций – кантовского схематизма опыта. По ту сторону общепонятной, но одно-сторонней, идеи протекающего времени. Течение времени – это

представление о времени, в котором далёкие события будущего приближаются, становятся близкими. Потом, проскользнув сквозь игольное ушко теперь и потеряв ветви (как дерево, протянутое сквозь фрезу сучкорезного агрегата), становятся линейным, лишённым плана бытия в возможности, прошлым. Сначала близким, потом далёким. Модель протекающего времени вполне адекватна классическим представлениям в естествознании (о неклассических представлениях здесь речь не идёт) и, как мне мнится, должна быть дополнена иной моделью, которую я называю моделью растекающегося времени.

На эту иную возможность представить время, а следовательно, и вникнуть в онтологические основания будущего как риска указывает бытующая поговорка о России как стране с непредсказуемым прошлым. На самом деле эта квалификация может быть адресована любому феномену культуры и истории. Америку и Европу второй половины XX в. вывернуло наизнанку, настигнувшее их непредсказуемое (еще совсем недавно неприметное) прошлое европейской колонизации американского континента и столетий колониального господства. Прошлое как феномен культуры столь же неопределенен, сколь и будущее...

Подойду к этому вопросу с противоположного конца. Рассмотрю парадокс целесообразного действия. В классическом европейском самосознании целесообразное действие (например, в форме автономии) рассматривалось как собственное определение человеческого в человеке, т. е. как форма его самоопределения. Свободы воли. Мир свободы – это мир целей. Предполагается, что в них человек раскрыт будущему, в отличие от своего природного существования, определенного событиями прошлого – причинами. Риск указывает на границу целесообразного действия, обращая внимание на непредусмотренные целью негативные последствия.

Парадокс целесообразного действия

Для того чтобы действовать целесообразно, нужно иметь ясно представленную цель. Но ясное представление о цели формируется в некотором сейчас как желанное представление о будущем. Это будущее чем яснее оно представлено, тем в большей степени

оно есть, выражаясь языком Августина, «будущее» именно того «настоящего», в котором оно формируется как ясно представленное. Для любого следующего момента времени²⁶ ясное представление о цели будет удерживаться уже не ожиданием (надеждой) в мета-момента настоящего–будущего, а воспоминанием (и основывающимся на нем узнаванием) в мета-момента настоящего–прошлого. Для простых действий этот темпоральный сдвиг целеполагания трудно заметен. Но когда действие усложняется и его осуществление растягивается во времени, то последствия могут быть катастрофическими. Например, представленное в XIX в. будущее – «коммунизм» уже к началу XX в. явно устарело. Оно было интересным проектом будущего того настоящего, которое длилось в эпоху Маркса. Но когда оно (будущее давно прошедшего настоящего) превратилось в цель, то, как ясно догматически (с ориентацией на припоминание) представленное, оно стало заслонять реально происходящее в обществе. Небывалое, постоянно свершающееся в новизне временения было заслонено давно прошедшим прошлым представлением о будущем, выраженным в языке марксистско-ленинской идеологии.

Чем больше плодились идеи научного коммунизма, тем меньше понималось что, собственно говоря, происходит. В конце коммунистической эпохи этот язык умер. И мир неодомашенных вещей (припомним ход рассуждений Хайдеггера) естественным образом обернулся миром тотального насилия. Весьма схематичные и наивные представления (типа представлений о командно-административной системе) получили в то время широкое распространение именно потому, что позволили хоть что-то иное высветить из давно уже свершившегося и тем самым попытаться его одомашнить. Но и наши «реформаторы», столкнувшись с надвигающимся, небывалым валом событий, ничего кроме столь же устаревшего представления о будущем давно прошедшего прошлого мира либеральной буржуазной демократии конца XIX в., предложить не сумели²⁷. Вновь желание понять по схеме припоминания уже представленного в прошлом будущего заслонило происходящее. А в тех локусах, где этот заслон оказался слабым, – срочно, катясь в той же колее целесообразного действия, стали возводиться новые заслоны из мира припоминаемого – державности, народности, евразийства, патриотизма, национальной идеи и т. п.

Проскочили – мимо начала. Изначального полемоса – пространства открытости разных разно-образных представлений о себе для самих же себя. Ответ – это не готовое представление, удачно высказанное по историческому случаю о российскости россиян (это чаще всего – удачная или нет конъюнктура), а животворное начало спора «о себе», которое, выражаясь языком В.С.Библера, и является источником спор – зародышей мысли. Идея – то, что приводит сущее к явленности, – это и есть сам спор – полемос.

Та же судьба слепорожденных представлений и у биотехнологического технократизма. Целесообразное преобразование человека (как и человеческого общества) предполагает ясное представление о человеке и его благе и тем самым – заслоняет от себя все инако-осмысляющееся. Собственно говоря, вопрос о том – кто это такой человек как «преобразующий» и что он собой представляет как «преобразуемый» предмет? – так и не ставится. Но как только это представление (почерпнутое из обыденности и взятое как очевидная предпосылка) представлено и поставлено как цель для целесообразной деятельности, то она моментально как ширма (в форме с каждым мигом устаревающего представления о будущем) оказывается между человеком и наступающим. Начинает активно вытеснять из его взгляда то, что не вмещается в неотвратимо устаревающее в идее цели представление о будущем. Не случайно, что технократические энтузиасты, тратящие невероятные усилия фантазии, чтобы представить самые отдаленные преобразования в области научного и технического прогресса, предполагают архаичную самость новоевропейского субъекта целесообразного действия в качестве самоочевидной предпосылки.

Мне возражат, что цель всегда возможно уточнить с тем, чтобы представление о ней более соответствовало реальности и не «закрывало» ее своим давно прошедшим будущим. Соглашусь отчасти, отказав уточнению в целесообразности. Ведь чтобы уточнить цель целесообразного действия необходимо встать в позицию, в которой эта цель лишь возможна, где ее еще нет. И чем радикальней ставится цель действия – некоторого человеческого дела, тем более радикальной должна быть осмыслена и выявлена возможность без-действия, без-делия... Праздника и растраты времени «людей дела» на «болтовню» спора по основаниям самой этой деятельности, т. е. на философию.

Банальные риски указывают на неблагоприятные, ненамеренные последствия, которые в принципе представимы и, поэтому, в отношении них вполне возможны представления об управлении.

Фундаментальные риски порождаются самой целью, которая как ширма закрывает от разума непредвиденное и непредставимое как таковое. Она превращает риск в Фортуну, предсказание в правдоподобное гадание.

Темпоральные топики

Предшествующее рассуждение поставило нас перед двумя странными явлениями мира культуры, которые не вмещаются в схематизм идеи протекающего времени, столь привычный по физическим представлениям. Мы видим, что человеческие сообщества настигает прошлое, которого не было в качестве будущего и настоящего для творцов истории. Более того, будущее может устаревать, становясь прошлым, никогда не побывав в настоящем. Можно помыслить футурологию прошлого и археологию будущего. Иными словами, события обнаруживаются не на грани сдвигов между будущим, настоящим и прошлым, а на грани представления целостных миров, каждый из которых пред-полагает свои особые структуры временения. Непредсказуемость прошлого – такой же источник риска, как и непредсказуемость будущего, которое, в свою очередь, неопределённо не только за счет многообразия возможных сценариев. Человечество может ошибаться в отношении мира возможных сценариев будущего так же, как ошибся Советский Союз. Причём оно тем скорее ошибется, чем больше будет хотеть колонизовать будущее (воспользуюсь термином Энтони Гидденса) технологиями страхования, фьючерсных продаж, прогнозирования, глобальных форсайтов и т. д. Время в человеческом мире не только протекает, но и растекается, становясь иным целиком. Можно сказать в форме афоризма – время само оказывается во времени.

В теоретическом плане это рассуждение можно провести следующим образом. По Августину прошлое, настоящее и будущее есть как мета-моменты этого есть – настоящего (настоящее прошлого, настоящее настоящего и настоящего будущего). Одна-

ко в данном решении время ускользает от смыслового схватывания, т. к. в погоне за устойчивостью определения теряется смысл временения как становления и небытия. Бытие (есть) причастно небытию и становлению через дополнительность моментов уже нет и еще нет. Причастность можно истолковать диалектически в том случае, если смысл действий ожидания и припоминания сводится к узнаванию одного и того же – предсказанию и памяти. Это одна классическая метафизика от Платона до Гегеля позиционирует в моменте настоящего. Припоминание сводится к представлению того одного, которое уже имело место в есть, редуцированном к настоящему. В ожидании также ожидается нечто, что соотносимо с одним настоящего как возможность и ее реализация. Ожидаемое будущее может сколь угодно ветвиться, но само ожидание настроено на встречу с новым, в котором будет узнана реализованная потенция одного настоящего. Данный тип временения раскрывает смысл бытия как само-воспроизведения (развития) в эффектах становления целого, сведенного к нумерическому единству одного и того же.

Однако эффекты становления можно мыслить и иначе, не диалектически, а диалогически (в смысле диалога по М.М.Бахтину) – не в форме самовоспроизведения (развития), но в форме мутации – становления иного одного. В данном случае деятельность припоминания и ожидания настроены на встречу и в прошлом, и в будущем с неузнаваемым как источником возможности иного единства. При этом временение может быть представлено не как отношение мета-моментов нумерически одного настоящего, но как метаморфозы многообразия структур временения. Ближайшим примером может служить культурология О.Шпенглера, представляющая историю как череду метаморфоз рождающихся, переживающих рассвет и гибнущих «культур». Каждая из них представляет собственное единство. Поэтому их временение не удерживается как последовательность одного и того же настоящего (европоцентристского). Связанность мышления в данном случае обеспечивает речь пишущего – читающего, которая предоставляет возможность чередой разнородных временений быть представленной как нечто целое в раскрываемом этой речью просвете ясности – в вот внимания. В поэтике осмысливающей речи раскрывается по Бахтину пространство со-временности различных культур.

С этой точки зрения схему Августина следует доопределить двумя другими топиками метамоментов. Одна топика воспроизведет антитетические отношения момента прошлого, а другая – момента будущего. В первом случае мы будем иметь систему «прошлое прошлого» – «прошлое настоящего» – «прошлое будущего». Припоминание как деятельность настроено изумлением перед неизвестным прошлым, которого еще не было. Вся философия как история философии живет инноватикой изумляющегося припоминания. Это прошлое раскрывается не в абстрактности прошедшего, а как свой целостный мир, имеющий и свое настоящее, и свое прошлое, и свое будущее. С этой точки зрения естественно, что каждая историческая эпоха пишет свою историю заново. Аналогично и в отношении сдвига становления, удерживаемого ожиданием, можно выделить симметричную топика структуры временения – особый целостный мир, структурируемый отношениями «будущее прошлого», «будущее настоящего», «будущее будущего». Эта топика адекватна тогда, когда ожидание раскрыто неожиданному.

Иными словами, прошлое постоянно устаревает. И постоянно устаревают наши практики припоминания не только в аспекте их данности, но и того, что называют обычно «перспективами развития». Устаревают надежды и ожидания. Этот разворот первой топика с необходимостью доопределяется в определениях второй. Место устаревающего прошлого занимает прошлое никогда не бывшее – только еще будущее. Точно так же, постоянно открываются новые и новые практики его припоминания – введения в «настоящее» и практики ожидания – введения в будущее.

Тем самым время не протекает, а бесконечно растекается, дробясь в оппозициях схватывания – вариантах временных топик.

В настоящем нет ничего кроме памяти, в настоящем нет ничего кроме желания – это первый шаг. Но и в прошлом нет ничего кроме желания настоящего. А в будущем – припоминания прошлого настоящего. На место кантовского схематизма времени, основанного на идее субстанции, причинного следования и взаимодействия субстанций, становится иной схематизм связывания чувственного опыта и мысли – схематизм со-бытия, со-временения.

Фундаментализация риска и сложная структура действия

С учетом сложности темпоральных топик целесообразное действие так же должно быть осмыслено как сложно организованное. Здесь полезно уточнить – в каком смысле речь идет о сложности. Начну с противоположного. Простыми объектами можно называть такие объекты, относительно которых кумулятивно накапливаемые знания об элементах в пределе представляют знание об объекте в целом. Простой объект характеризуется идеей единства многообразия (смысл единой теории). Для него характерна однородность элементов, возможность их объективного представления в одном хронотопе (пространстве-времени) и детерминации одним типом причинных отношений. Отдельные элементы знания как «кирпичики» постепенно достраивают «здание» целостного научного представления. К ним относятся не только объекты естествознания, но и психологии, социологии или экономики классической эпохи. Для таких объектов «неопределенность» является свидетельством недостаточности научного знания, его субъективным несовершенством. Естественно, что минимизация неопределенности и рисков связывается с научно-техническим прогрессом.

Соответственно, сложными объектами можно называть такие объекты, в которых знания об элементах дают основания для многообразия целостных представлений. Сложный объект характеризуется идеей множественности возможных единств (смысл модельных представлений). Для него характерно представление о неоднородности элементов, невозможности их редуцирования к некоторым базовым элементам объективного представления в одном хронотопе (пространстве и времени), детерминации одним типом причинных отношений. Для таких объектов «неопределенность» является свидетельством их сложности, т. е. их собственной характеристикой. Вполне естественно, что научно-технический прогресс не минимизирует, а максимизирует неопределенность. Это обстоятельство было мной проанализировано в отношении наук о человеке²⁸. В такой ситуации риски фундаментализируются. Целесообразное действие обнаруживает свою сложность, как только мы применим к нему представления о растекающемся времени и утроенной структуре темпоральных топик.

С этой точки зрения целесообразное действие предстает как сложное пересечение трех тенденций, адресованных прошлому, настоящему и будущему. Первую тенденцию буду называть реконструирующей, вторую – конструирующей, а третью – деконструирующей. Каждая из них ориентирована относительно своей особой идеей целостности (цели). Ускользающее за рамки темпорального представления становление образует в области непредставимого своеобразный «отход» трех тенденций, который помечу как четвертую деструктурирующую «тенденцию» (взяв ее в кавычки).

В первом приближении реконструирующими буду называть такие тенденции, которые ориентированы на восстановление некоторой утраченной целостности. Восстановление утраченного здоровья – самый характерный, хотя и не единственный пример реконструирования. Уточняющими синонимами реконструкции могут стать такие слова, как восстановление, реставрация, или реабилитация. В любом случае, та норма (идея целостности), на которую ориентируются эти формы преобразовательной деятельности, предсуществует в отношении к ситуации преобразования. Она как бы локализована в прошлом, была нарушена и теперь ее предстоит восстановить.

Аналогичным образом реконструктивна целесообразная деятельность, направленная на восстановление различного рода традиционных форм. Более того, в той степени, в которой гуманитарное знание осознает себя, следуя Риккерт, как своеобразная наука об истории, в отличие от наук о природе, оно всецело погружено в контекст реконструктивного действия. Причем двигаясь путями припоминания, восстанавливая прошедшее, реконструирование воспроизводит его в качестве целостного темпорального феномена, раскрывающего особый мир со своим настоящим прошлым и будущим.

Конструкция, в отличие от реконструкции, предполагает в качестве определяющего специфику элемент новации, изобретения, создания новой формы человеческой сущности или человеческого существования. Синонимически близки слову конструкция слова инновация и изобретение. Частным вариантом конструирования, выражающим его суть в биомедицине, являются практики медико-психологической абилитации. Об абилитации говорят тогда, когда врачам, педагогам, психологам, социальным работникам и иным

работающим с пациентами субъектам приходится не восстанавливать утраченную целостность, но создавать ее фактически заново. В любом случае для конструирования важен эффект новации с одной стороны, а с другой (с тем, чтобы отличить от следующей тенденции – деконструирования) – эффект возникновения новой целостности как актуальной. Здесь и теперь выраженной нацело. Конструирование преобразует некоторую исходную природу человека с тем, чтобы придать ей новую более современную конкретную форму. В конструировании и продукт, и его нормативный образ появляются одновременно. Целостность не предшествует производству, а рождается вместе с ним. Она локализована не в прошлом, но в настоящем. И это настоящее дает основание актуальному миру, для которого Августин предложил топикку настоящего-прошлого, настоящего-настоящего и настоящего-будущего.

Деконструкцией можно назвать процесс преобразования природы человека, результатом которого является ее превращение в своеобразный конструктор, материю (в аристотелевском смысле). Этой материи в соответствии с индивидуальными или коллективными предпочтениями можно придавать необходимую для решения конкретных задач или реализации тех или иных ценностей форму. Особенность деконструирования в том, что ценность и целостность человеческого существа категориально схватывается идеей бытия-в-возможности. Человеческое в человеке в данном случае – это не нечто бывшее или здесь и теперь созданное, но его культивируемое всем блоком наук о человеке могу-щество, его возможность приобретать новые биологические, психологические, социальные и иные качества, осваивать новые формы деятельности и образы индивидуального существования. Его целостность открыта неизвестности будущего.

Человеческое в человеке в данном случае – это не нечто бывшее или здесь и теперь созданное, но его культивируемое всем блоком наук о человеке могу-щество, его возможность приобретать новые биологические, психологические, социальные и иные качества, осваивать новые формы деятельности и образы индивидуального существования. Его целостность открыта неизвестности будущего. В работе «Институт человека как философская идея»²⁹ весь блок антропологических исследований мной рассмотрен как реализация деконструктивных тенденций, расчищающих

место для власти социальных институтов. Сейчас хотел бы обратить внимание на идею «компетенции» в современном образовании. Она предполагает не столько формирование конкретных умений, сколько умения формировать новые умения, каждый раз переопределяя себя в соответствии с быстро меняющимися запросами общественного производства. Если раньше биография человека фактически была предопределена либо фактом его рождения, либо выбором профессии в процессе образования, то сейчас образование предполагает формирование навыков переопределения своей деятельности, возможность многократного перехода в процессе жизни от одной профессиональной деятельности к другой. Возникает особого рода темпоральная целость (со своим прошлым, настоящим и будущим) как фундаментальная потенция преобразовательной целесообразной деятельности.

Выделенные мной три тенденции, образующие сложную структуру целесообразного действия, связаны с темпоральными топиками. Целесообразное действие приобретает особенность в зависимости от того, какой момент времени избирается как определяющий идею целостности человека. Семантически слово «деструкция» выпадает из темпорального ряда. Но отсылка к нему неизбежна, поскольку современную экзистенциальную ситуацию иначе как пастернаковским переводом Шекспира – «распалась связь времен» – охарактеризовать затруднительно. Ханс Йонас убедительно показал, что в сфере биотехнологий рост могущества с неизбежностью ведет к непредсказуемости и неконтролируемости результатов человеческого действия. На эту сферу неконтролируемого и непредсказуемого как источник фундаментального риска (а точнее – царство Фортуны), как раз и указывает слово деструкция.

Можно так же отметить, но оставить без обсуждения связь описанных выше тенденций с выделенными Маргарет Мид типами самоидентичности: постфигуративной (полагающей центр самоидентичности в прошлом), конфигуративной (полагающей его в настоящем) и префигуративной (полагающей в будущем). Единственное, для большей точности и соответствия полезно было бы дополнить мидовскую классификацию типом «дисфигуративной» идентичности, формирующейся как отход в реализации трех основных проектов самоидентификации. Его природа – это природа ускользающего протоя. Бессознательное, открытое Фрейдом, –

одно из частных имен дисфигуративной идентичности, являющейся отходом постфигуративных практик самоидентификации (самоидентификации через отношение к отцу). Причем эта открытость дисфигуративному сохраняется не в психоаналитических топиках и теориях, а в свойственной самому психоанализу деструктурирующей тенденции становления иным. Психоанализ начал быстро дробиться на многочисленные варианты школ и интерпретаций, каждая из которых, схватывая и вводя в обзор представимого свое, с неизбежностью теряло из виду неуловимую стихию становящегося. Поэтому деструктивная тенденция и предполагающая ее «дисфигуративная идентичность» (как ни парадоксально это именование безымянного) в принципе неустранимы и непредставимы.

Человечество как шизо-сфера

Человечество странная штука. В философии, когда речь заходит о смысле суждений о смерти или жизни индивидуального человека, нередко проводится такой мысленный эксперимент. Представим себе, что у нейро-физио-психологов появилась возможность полностью перепрограммировать память человека. Стереть старую и записать в нее новую биографию. Будет ли человек N с новой биографией и прежним телом тем же самым? Сохранится ли в прежнем теле жизнь другого человека или перед нами будет не мистер N, а мистер M? **Поскольку память – основа самоидентичности**, то другая память – другая самость, другой человек. N умер, а родился (возник) M.

Не так ли дело обстоит и с человечеством? Поскольку история постоянно «перепрограммирует» его память, то возникает экзистенциально значимая работа для историков – связать всю предшествующую череду рождающихся и умирающих тел биологического вида *Homo sapiens* в некую общую цепочку припоминаемых событий. Каждая эпоха делает это по-своему. Поэтому человечество – это некоторое существо, у которого постоянно гибнет самоидентичность и которое, в усилии припоминания и ожидания, постоянно её заново создает. Припоминая и ожидая, создает небывалое. Узнает себя в предке лишь в той степени, в которой предварительно в предка инвестирует собственное самосознание.

Время не просто протекает, но растекается. Погруженные в поток становления наука, искусство, религия и иные формы духовного производства производят множества новых темпоральных миров с непредсказуемым (из другого, со-присутствующего или отбывшего мира) прошлым, настоящим и будущим.

Поэтому человечество всегда было и будет размножающимся множеством человечеств – достаточно замкнутых на себя пространств коммуникабельности (М.К.Мамардашвили), объединённых более или менее общей историей (памятью) и специфически раскрытым в неопределенность будущим. Однако до второй половины XX в. существовала иллюзия создания единого исторического нарратива (неважно, религиозного или научного). В современности как со-временности культурных миров утопическая идея единой исторической наррации (и, как следствие, – общечеловеческой идентичности) оттесняется на периферию. Человечество всё больше обнаруживает свою общность не в исторической памяти, а в биологических и технологических условиях своего существования. Не в духе и разуме, которые множатся быстрее, чем объединяются, а в природном и культурном теле. Мусульман и христиан куда больше объединяют общие гены, джипы, Интернет, мобильные телефоны и автоматы Калашникова, чем общие сакральные припоминания.

И если действительно деятельности человека, следуя Вернадскому, Леруа или Тейяру де Шардену, следует приписать некую геологическую, планетарную или даже космическую силу, то реальностью этой сферы будет не ноосфера, а шизосфера. Неопределённость и непредсказуемость действия этой силы и сопряженный с ними риск будут расти с могуществом её локальных образующих компонент. Тем самым на место риска встает Фортуна.

Свобода воли и эсхатология

Приведу выдержки из информационного материала Российского трансгуманистического движения:

«Развитие генной инженерии сделает возможным улучшение генотипа человека. Масштабные задачи, стоящие сегодня перед человечеством, требуют людей талантливых во многих

отраслях, совершенных и высокоразвитых личностей, обладающих идеальным здоровьем, высочайшими физическими и умственными способностями. Таких людей можно будет создать методами геной, генетической и клеточной инженерии. Эти методы будут применимы как к только появляющимся на свет детям, так и к уже взрослым людям. Человек сможет многократно усилить свои собственные способности и увеличить способности своих детей. С объективной точки зрения в этом нет ничего плохого или не этичного. Уже сегодня многие всемирно известные учёные, такие как Уотсон, один из первооткрывателей ДНК, говорят о том, что человеческая глупость, например, является по сути своей генетическим заболеванием и в будущем будет излечима...

Конечно, отдельные группы, неотягченные соответствующими знаниями, но преследующие какие-то личные, идеологические или лоббистские цели, могут пытаться запретить подобные технологии, но как показывает история развития науки, надолго это сделать им не удастся...

Прогресс вряд ли остановится на исправлении недостатков. Излечив болезни и остановив старение, человек примется за улучшение собственного организма, за его перестройку по собственным планам и желаниям. Люди смогут произвольным образом лепить свое собственное тело и мозг, добавлять себе новые способности, возможность жить под водой, летать, питаться энергией солнечного света, добавлять новые отделы мозга, новые органы тела. Любители модификации своего тела смогут сделать свои тела похожими на тела животных или даже химер, таких как кентавры или русалки...»³⁰

Безусловно, речь идёт о перспективах, а не о реальных возможностях даже ближайшего будущего. Но представим себе, что прогноз вскоре оправдается. Генетики расшифруют механизмы старения и смерти, научатся отключать гены, ограничивающие жизнь человека. Однако станет ли человек бессмертным? Если природа перестанет быть источником его смерти, то останется другой источник, который стремительно набирает мощь вместе с ростом могущества человека. Это его свободная воля, способность использовать достижения науки и техники против человека, созда-

вая новые более эффективные средства ведения войны, массового и индивидуального убийства, в том числе, используя достижения генетики и нанотехнологий.

И в отличие от глупости, которая может стать предметом преобразования, свобода воли стать им без уничтожения сущности человеческого в человеке не может. Конечно, можно будет зомбировать каких-то людей, но должны будут остаться те, кто, оставшись свободными, будут контролировать этих других. И среди этих оставшихся, обладающих беспрецедентным могуществом, всегда найдутся те, кто захочет использовать его против себе подобных. И чем больше будет это могущество, тем легче будет уничтожить не только отдельных людей, но человечество в целом.

Не вечная жизнь, а угроза безжалостного самоуничтожения может оказаться перспективой человека. И *основанием этой эсхатологии выступает идея свободной воли – судьбы новоевропейского человечества.*

Заключение.

Эвтаназия и предельная цель человеческого действия

В набирающем мощь движении за право человека на эвтаназию постепенно осваивается предпосылка будущего радикального разрешения проблем, встающих перед человечеством. Осваивается простая мысль – *небытие может быть лучше бытия.* Большая часть сторонников эвтаназии – атеисты или агностики. Ни в какой загробный мир не верят. Им смерть ничего не сулит, или сулит лишь *ничто*. Ничто кроме небытия, которое в ситуации радикального экзистенциального выбора, перевешивает ценность бытия как страдания. Как раньше поговаривали – количество переходит в качество ...

Если человек обладает правом на эвтаназию, то почему им не обладает человечество? Учитывая шизосостояние человечества, этика автономного субъекта (основа идеи эвтаназии), конечно же, откажет последнему в праве решать за себя. Но так же как сейчас за психиатрического пациента могут принимать решения его здоровые попечители, то и за человечество вполне может решить некая «группа благоразумных товарищей»...

И боли больше не будет, и мечущийся дух успокоится над безбрежной гладью слепого и немого бытия.... В ответ на божественное «Да будет!» прозвучит эхо слишком человеческого: «Да пошел ты... со своим бытием!».

Примечания

- ¹ Смерть, событие и смысл (наброски).
- ² Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность / Пер. С.П.Баньковской // Thesis. 1994. № 5 С. 107–134.
- ³ Там же. С. 109.
- ⁴ Тищенко П.Д.
- ⁵ *Faru Le J.* The Rise and Fall of Modern Medicine. L., 1999. P. 319–372.
- ⁶ Гидденс Э. Указ. соч. С. 112.
- ⁷ Бек У. Обществориска. На пути к другому модерну / Пер. с нем. В.Сидельникова и Н.Федоровой; Посл. А.Филиппова. М., 2000. С. 26.
- ⁸ *Августин Аврелий.* Исповедь; *Абеляр Петр.* История моих странствий. М., 1992. С. 162.
- ⁹ Фуко М. О трансгрессии // Танатография эроса. СПб., 1994. С. 117.
- ¹⁰ Гуссерль Э. Избр. работы М., 2005. С. 450.
- ¹¹ Хайдеггер М. Время и бытие / Пер. В.В.Бибихина. М., 1993. С. 309.
- ¹² Бибихин В.В. Внутренняя форма слова. СПб., 2008. С. 51–52.
- ¹³ Там же. С. 51.
- ¹⁴ У-Росс Эшби. Конструкция мозга М., 1964. С. 354.
- ¹⁵ Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 288.
- ¹⁶ Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 9.
- ¹⁷ Там же. С. 10.
- ¹⁸ Тищенко П.Д. Институт человека как философская идея // Человек. 2008. № 6. С. 23–41.
- ¹⁹ *Hans J.* Biological Engineering – A Preview // Philosophical Essays. From Ancient Greed to Technological Man. Chicago–L., 1974. P. 142.
- ²⁰ Ibid. P. 143.
- ²¹ Ibid.
- ²² Неретина С., Огурцов А. Реабилитация вещи. СПб., 2010.
- ²³ Хайдеггер М. Наука и осмысление // Время и бытие: статьи и выступления / Пер. В.В.Бибихина, М., 1993. С. 239.
- ²⁴ Библер В.С. Самостояние человека // «Предметная деятельность» в концепции Маркса и самодетерминация человека. Кемерово, 1993. С. 40.
- ²⁵ В клинковом оружии она неслучайно ограничивалась эфесом, который защищал не только от удара другого, но и от случайного ранения своей руки о свой же клинок.

- 26 Напомню, по Августину каждый момент времени структурирован тремя мета-моментами – настоящее прошлого, настоящее настоящего и настоящего будущего. Эта тройная структура времени раскрывается тремя действиями души – воспоминанием, вниманием и ожиданием.
- 27 И вот уж совсем «сейчас», с новой остротой поставив вопрос о модернизации и инновации, ничего иного в качестве цели своего будущего как припоминания давно прошлого будущего (в данном смысле американской силиконовой долины) не нашлось. Опять желание рваться вперед, пятясь назад. Американцы обогнали СССР в космической гонке потому, что не догоняли. Они попросту создали новую, более эффективную совершенно иначе связанную с бизнесом и властью науку.
- 28 *Тищенко П.Д.* Институт человека как философская идея // Человек. 2008. № 6. С. 23–41.
- 29 Там же.
- 30 <http://www.transhumanism-russia.ru/content/view/38/135/>